Дом без хозяина

Автор:
Генрих Бёлль

Дом без хозяина

Генрих Бёлль

Эксклюзивная классика (АСТ)

Война забрала у семьи Брилах и семьи Бах кормильцев, и теперь о счастливых днях напоминают лишь фотографии. В их опустевших домах подрастают без отцов мальчики с такими схожими и в то же время разными судьбами: Генрих, на личном опыте столкнувшись с унижениями бедности, стыдится за мать, которая слывет «безнравственной», а Мартин, не знающий финансовых трудностей, подозревает, что в его жизни при всем достатке чего-то не хватает. И, несмотря на социальную пропасть, их дружба крепнет день ото дня…

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Генрих Бёлль

Дом без хозяина

1

Он сразу просыпался, когда среди ночи мать включала вентилятор, хотя резиновые лопасти крутились почти бесшумно: приглушенное жужжание и время от времени остановка, если в лопастях застревал край гардины. Тут мать, тихо чертыхаясь, вставала с постели, высвобождала гардину и зажимала ее

между дверцами книжного шкафа. Абажур лампы был из зеленого шелка – водянистая зелень, а сквозь нее – желтые лучи, и ему казалось, что красное вино в стакане, стоящем на тумбочке у постели матери, очень похоже на чернила: темный, тягучий яд, который она потягивает маленькими глотками. Мать читала, курила и изредка отпивала глоток.

Из-под полуопущенных век он наблюдал за нею, не шевелясь, чтобы не привлечь ее внимания, и провожал взглядом дым сигареты, который тянулся к вентилятору; ток воздуха засасывал и дробил серые и белые облака, а потом мягкие зеленые лопасти перемалывали их и выбрасывали вон. Вентилятор был большой – такие стоят в магазинах – добродушный ворчун, он за несколько минут очищал воздух в комнате. Тогда мать нажимала кнопку на стене там, где над кроватью висела фотография отца: улыбающийся молодой человек с трубкой во рту, слишком молодой, вряд ли такой годился в отцы одиннадцатилетнему мальчику; отец был молод, как Луиджи в кафе Генеля, как робкий маленький новый учитель, гораздо моложе матери, а она выглядела так же, как матери всех остальных ребят, ничуть не моложе. Отец – это улыбающийся паренек, но вот уж несколько недель мальчик видит его во сне совсем не таким, как на портрете, – печально поникший человек сидит на чернильной кляксе, будто на облаке, лица у него нет, но он плачет, потому что ждет уже миллионы лет; на нем мундир, но без знаков различия и без орденов; этот пришелец внезапно вторгся в сновидения мальчика, совсем не такой, каким ему хотелось бы видеть отца.

Самое главное лежать тихо, чуть дыша, с закрытыми глазами, тогда по шорохам в доме можно узнать, который час: если Глума уже не слышно, значит, половина одиннадцатого, если не слышно Альберта, значит, одиннадцать. Обычно он еще слышит Глума в комнатке наверху – тяжелые, размеренные шаги, или Альберта в соседней комнате – Альберт насвистывает за работой. Бывает, что и Больда поздно вечером спускается на кухню и начинает возиться там – шаркающие шаги, осторожно щелкнувший выключатель, и все-таки почти каждый раз Больда натыкается на бабушку, и из передней доносится глухой голос:

– Эх ты, ненасытная утроба, что ты затеяла стряпню среди ночи? Опять жаришь, паришь и варишь какую-нибудь дрянь?

И в ответ пронзительный смех Больды.

– Верно, старая карга, я проголодалась, хочешь чего-нибудь за компанию?

Снова пронзительный смех Больды и глухое, полное отвращения «тьфу!» бабушки. Иногда обе говорят шепотом, только время от времени слышен смех: пронзительный – Больды, глухой – бабушки.

То ли дело – Глум, тот ходит наверху взад и вперед и читает загадочные книги: «Догматы», «Богословие и нравственность». Ровно в десять Глум всегда идет в ванную, моется – шум воды, потом «пых!» – это он зажег газовую горелку, – и разом вспыхнуло множество язычков; потом Глум возвращается к себе, гасит свет и уже в темноте опускается на колени перед кроватью – молится. Слышно, как Глум тяжело стукается коленками об пол и, если в доме всюду тихо, как Глум бормочет слова молитвы. Долго-долго молится Глум в своей темной комнате. Потом встает с колен, и тогда под ним взвизгивают пружины матраца, – это значит, что ровно половина одиннадцатого.

Остальные – кроме Глума и Альберта – твердых привычек не имели: Больда иногда спускалась вниз уже за полночь и варила себе снотворное – листья хмеля, которые она держала в коричневом бумажном пакетике; случалось, что бабушка заходила на кухню, когда давно уже пробило час ночи, готовила себе целую гору бутербродов с мясом и, зажав под мышкой бутылку вина, уходила в свою комнату. Иногда среди ночи бабушка вдруг спохватывалась, что в сигаретнице не осталось сигарет – в красивой голубой фарфоровой сигаретнице, куда входило сразу две пачки. Тогда она бродила, шаркая ногами, по всему дому и, ворча, искала сигареты – большая, с очень светлыми волосами и розовым лицом; сперва она заходила к Альберту: один Альберт курил сигареты, которые были ей по вкусу. Глум всегда курил трубку, а мамины сигареты старухе не нравились: «Бабья забава – меня мутит, как я на них гляну»; у Больды в шкафу всегда было несколько смятых, завалявшихся сигарет, которыми она оделяла почтальона и монтера – над этими сигаретами бабушка всячески издевалась: «У них такой вид, будто ты их выудила из святой воды, а потом высушила, старая грязнуля, – они только для монашек хороши, тьфу!» А порой в доме не было никаких сигарет; тогда Альберту приходилось среди ночи одеваться и ехать на своей машине в город за сигаретами, иногда они вместе с бабушкой собирали по всему дому подходящие монеты для автоматов. Но уж тут бабушка не желала ограничиваться десятком или двумя – она требовала никак не меньше полусотни сигарет в ярко-красных пачках с надписью – Томагавк. Натуральный виргинский табак – очень длинные, белоснежные, очень крепкие сигареты.

– Только чтоб не лежалые, мой дорогой!

А когда Альберт возвращался, она прямо в передней обнимала и целовала его, приговаривая:

– Если бы не ты, мой мальчик, ах, если бы не ты… родной сын и тот не был бы лучше.

Потом наконец она уходила к себе, жевала свои бутерброды – толстые ломти белого хлеба, густо намазанные маслом и обложенные мясом, пила вино и покуривала.

Альберт был почти такой же точный, как Глум, – ровно в одиннадцать у него в комнате становилось тихо, – то, что совершалось в доме после одиннадцати, имело отношение только к женщинам: бабушке, Больде и матери. Мать ночью редко вставала с постели, зато она долго читала и курила слабые, сплющенные сигареты, которые доставала из плоской желтой пачки с надписью: Мечеть. Натуральный Восточный табак. Изредка мать отпивала глоток вина и каждый час включала вентилятор, чтобы прогнать дым из комнаты.

Но часто по вечерам мать уходила куда-нибудь или приводила с собой гостей, тогда его, сонного, переносили в комнату к дяде Альберту, и он притворялся, будто не слышит этого. Он терпеть не мог гостей, хотя любил спать в комнате дяди Альберта. Когда приходили гости, они засиживались очень поздно – до двух, до трех, до четырех часов ночи, а то и до пяти, и дядя Альберт просыпал тогда утром и не с кем было позавтракать перед школой, – Глум и Больда уходили чуть свет, мать всегда спала до десяти, бабушка никогда раньше одиннадцати не вставала.

Хотя он всякий раз твердо решал больше не спать, он обычно опять засыпал, как только мать выключит вентилятор. Но когда она долго читала, он просыпался и во второй, и в третий раз, особенно если Глум забывал смазать вентилятор – и тот медленно, со скрипом делал первые обороты. Только потом, набрав скорость, лопасти начинали работать бесшумно, но все равно от первых же скрипучих звуков он сразу просыпался и видел, что мать лежит, подперев голову правой рукой, зажав сигарету в левой, а вина в стакане ровно столько же, сколько было раньше. Иногда мать читала даже библию, порой он видел у нее в руках молитвенник в коричневом кожаном переплете, и неизвестно почему ему делалось от этого как-то не по себе. Он старался поскорей уснуть или начинал кашлять, чтобы мать знала, что он не спит. Это случалось поздно, когда все в доме спали. Заслышав кашель, мать тотчас вскакивала и подходила к его

постели. Она щупала ему лоб, целовала его в щеку и тихо спрашивала:

– Ты не заболел, малыш?

– Нет, нет, – отвечал он, не открывая глаз.

– Я сейчас погашу свет.

– Да нет, читай.

– У тебя ничего не болит? Температуры как будто нет.

– Конечно, нет. Я здоров.

Она укутывала его одеялом до шеи, и он удивлялся, какие у нее легкие руки. Потом она возвращалась в свою постель, гасила свет и включала в темноте вентилятор, чтобы очистить воздух, а пока вентилятор крутился, она разговаривала с ним.

– Хочешь, мы переведем тебя в верхнюю комнату, рядом с Глумом?

– Нет, здесь лучше.

– Или в соседнюю? Ее тоже можно освободить.

– Да нет, я правда не хочу.

– Ну, а к Альберту? Альберт перебрался бы в другую.

– Нет.

Вдруг вентилятор начинал крутиться все медленнее, и тогда он знал, что мать в темноте нажала кнопку. Еще несколько последних оборотов, скрежет, и потом – тишина, вдали слышны поезда – лязг и грохот сцепляемых товарных вагонов, перед глазами встает надпись: Восточная товарная станция. Они с Вельцкамом как-то ходили туда, дядя Вельцкама работает кочегаром на маневренном

паровозе, который подает вагоны на сортировочную горку.

– Надо сказать Глуму, чтобы смазал вентилятор.

– Скажу.

– Да, пожалуйста, а теперь давай спать. Спокойной ночи!

– Спокойной ночи.

Но после этого он уже не мог уснуть и знал, что мать тоже не спит, хотя лежит совсем тихо. Мрак и тишина, только издалека приглушенный грохот с Восточной товарной, только всплывают и встают в памяти слова, которые не дают покоя: слово, что мать Брилаха сказала кондитеру, – это слово было нацарапано и на стене у лестницы, ведущей в квартиру Брилаха, и еще новое слово: безнравственно, которое Брилах где-то подцепил и теперь все повторяет. Часто думал мальчик и о Гезелере, но тот был очень далеко, и когда он думал о Гезелере, то не чувствовал ни страха, ни ненависти, только какую-то тяжесть; он куда больше боялся бабушки, она постоянно вдалбливала в него имя Гезелера и при всяком удобном случае заставляла повторять его. Глум, слыша это, недовольно покачивал головой.

Потом он догадывался, что мать уснула, но сам никак не мог уснуть; в темноте он пытался представить себе лицо отца, но это ему не удавалось – тысячи глупых картин роем кружились в его голове – из фильмов, из иллюстрированных журналов, из учебников: Блонди, Хоппелонг Кессиди и Дональд Дак, – а отец не появлялся. И дядя Брилаха, Лео, вставал перед ним, и кондитер, и Гребхаке с Вольтерсом, это те двое, которые делали в кустах что-то бесстыдное: багровые лица, расстегнутые штаны, горьковатый запах свежей травы. Интересно, а бесстыдный – это все равно что безнравственный? Но отец, человек, который на фотографии выглядел слишком живым, слишком веселым, слишком юным для настоящего отца, отец так ни разу и не появился. Всем отцам обязательно подавали яйцо к завтраку, но с его отцом это как-то не вязалось. У всех отцов – твердый распорядок дня, свойство, которым в какой-то степени обладал дядя Альберт, но и распорядок никак не вязался с отцом. Распорядок – это: вставание, яйцо к завтраку, работа, возвращение домой, газета, сон. Но все это не вязалось с его отцом, зарытым где-то на окраине русской деревушки. Прошло уже десять лет, отец, наверное, похож теперь на скелет в медицинском музее. Кости,

оскаленные зубы. Рядовой и поэт, как-то не подходит одно к другому. Отец Брилаха был фельдфебелем и слесарем. Отцы других мальчиков были: либо майор и в то же время директор, либо унтер-офицер и бухгалтер, либо старший ефрейтор и редактор, ни один из отцов не был рядовым, и ни один из них – поэтом. Дядя Брилаха, Лео, был вахмистром, вахмистр и кондуктор – цветная фотография на кухонном буфете между саго и крупой. Что такое саго? От этого слова веяло Южной Америкой.

Потом выплывали вопросы из катехизиса – водоворот цифр, и каждая обозначала вопрос и ответ.

Вопрос одиннадцатый: прощает ли бог грешника, который покаялся? Ответ: да, бог охотно прощает всякого грешника, который покаялся. И непонятное двустишие: «Если ты, господи, не отпустишь нам грехи наши, кто тогда останется праведным?» Никто не останется. По твердому убеждению Брилаха, все взрослые – безнравственные, а дети бесстыдные, мать Брилаха безнравственная, дядя Лео – тоже, кондитер, может быть, тоже; и его мать, которой бабушка шепотом выговаривает в передней: «Где ты только шляешься?» – тоже.

Есть, конечно, исключения, это признавал даже Брилах: дядя Альберт, потом столяр, который живет внизу, в доме Брилаха, фрау Борусяк и ее муж, Глум и Больда. Но лучше их всех фрау Борусяк – у нее низкий, глубокий голос, и она распевает над комнатой Брилаха чудесные песни, даже во дворе слышно.

Думать о фрау Борусяк очень приятно и успокоительно. «Я выросла в краю зеленом», – часто пела фрау Борусяк, и когда она так пела, ему все казалось зеленым, словно к глазам поднесли бутылочное стекло – все-все становилось зеленым, даже теперь, в постели, ночью, когда он с закрытыми глазами думал о фрау Борусяк и слышал ее песню: «Я выросла в краю зеленом».

Хороша еще песня про долину скорби: «Привет тебе, звезда в зените». И от слова «зенит» тоже все зеленело. В какое-то мгновение он все-таки засыпал – где-то между пением фрау Борусяк и словом, которое мать Брилаха сказала кондитеру, – это слово дяди Лео, – слово, которое мать прошипела сквозь зубы в пахнущем сдобой, теплом подвале пекарни, слово, значение которого ему разъяснил Брилах: это слово про сожительство мужчин и женщин, имеющее отношение к шестой заповеди, безнравственное слово, и сразу на память приходит стих, который его очень занимает: «Если ты, господи, не отпустишь

нам грехи наши, кто тогда останется праведным?» А может быть, сон приходил к нему, когда он вспоминал про Хоппелонг Кессиди – лихого ковбоя с лихими приключениями, чуть глуповатого, как все гости, которых мать приводила в дом.

Так или иначе, но слышать дыхание матери было приятно: ее постель часто пустовала, иногда несколько суток подряд, и тогда в передней бабушка укоризненно шептала:

– Где ты только шляешься?

Мать не отвечала. Утреннее пробуждение тоже таило в себе некоторую опасность. Если Альберт будил его, уже надев чистую рубашку и галстук, все проходило благополучно: они устраивали тогда в комнате Альберта настоящий завтрак и никуда не торопились и не волновались, и можно было еще раз пробежать вместе с Альбертом домашние задания. Но если Альберт был еще в пижаме, непричесанный, с измятым лицом, тогда приходилось второпях глотать горячий кофе и срочно писать записку: «Глубокоуважаемый господин Вимер, прошу вас извинить меня за то, что мальчик снова опоздал сегодня. Его мать уехала, а я забыл разбудить его вовремя. Еще раз прошу извинить меня. С совершенным почтением».

Плохо было, когда мать приводила гостей: беспокойный сон в широкой постели Альберта, глупый смех, доносившийся из маминой комнаты; Альберт в такие ночи иногда и вовсе не ложился и только между пятью и шестью принимал ванну: шум воды, всплески, а он снова засыпал, и когда Альберт будил его, чувствовал себя бесконечно усталым и разбитым. На уроках он тогда клевал носом, а после уроков в качестве вознаграждения его водили в кино и кушать мороженое или брали к матери Альберта, в Битенхан – «Лесные ворота». Там пруд, где Глум голыми руками ловит рыбу и снова бросает ее в воду, там комната над коровником, там можно часами гонять в футбол с Альбертом и Брилахом на утоптанной, выкошенной лужайке, пока не проголодаешься и не захочешь отведать хлеба, который мать Альберта печет сама, а дядя Билль всегда приговаривает: «Намажьте побольше масла». Покачает головой: «Побольше масла». Опять покачает: «Еще больше». И Брилах, всегда такой неулыбчивый, смеется там от души.

Было много станций на пути, он мог уснуть на любом перегоне: Битенхан и отец, Блонди и безнравственно. Приглушенное жужжание вентилятора значило, что все хорошо: мать дома. Шелест страниц, дыхание матери, чирканье спички и

тихий, быстрый глоток, когда она подносит к губам стакан с вином, – и непонятное движение воздуха, когда вентилятор давно уже выключен: это дым тянется к вентилятору, и Мартин незаметно погружался в сон – где-то между Гезелером и «Если ты, господи, не отпустишь нам грехи наши».

2

Лучше всего было в Битенхане, где мать Альберта держала загородный ресторанчик. Мать Альберта все пекла сама, даже хлеб. Она это делала просто потому, что любила печь, – и они с Брилахом могли в Битенхане вытворять все, что им заблагорассудится, – ловить рыбу, уходить в долину, кататься на лодке или часами играть за домом в футбол. Пруд вдавался в лесную чащу, и их обычно сопровождал дядя Билль – брат матери Альберта. С детских лет дядя Билль страдал какой-то удивительной болезнью, которую все называли «ночная потливость» – странное название, вызывавшее смех у бабушки и Глума, Больда тоже хихикала, заслышав это слово. Биллю было уже под шестьдесят. Когда же ему не было еще и десяти, мать однажды нашла его в постели всего залитого потом. На следующий день повторилась та же история, и мать, обеспокоившись, потащила его к доктору, ибо по каким-то таинственным преданиям ночная потливость считалась верным признаком чахотки. Но легкие у маленького Билля оказались в полном порядке, только сам он, как выразился доктор, был мальчик нервозный и субтильный; и доктор – тот самый, который вот уже сорок лет покоится на городском кладбище, – сказал пятьдесят лет тому назад: «Ребенка нужно беречь».

И Билля всю жизнь берегли. «Нервозный, субтильный» да еще ночная потливость – все это превратилось в своего рода ренту, которую пожизненно выплачивала ему семья. Мартин и Брилах, узнав об этом, долгое время с утра ощупывали свои лбы и по пути в школу делились наблюдениями. Выяснилось, что и у них иногда лбы бывают влажные. Особенно у Брилаха – он потел по ночам часто и очень обильно, но, с тех пор как Генрих Брилах родился, никому и в голову не приходило хоть денек поберечь мальчика. Мать рожала его, когда на город сыпались бомбы, они падали на ту улицу, а под конец и на тот дом, где в бомбоубежище, на грязных нарах, заляпанных ваксой, она корчилась в схватках. Голова матери оказалась на том самом месте, где какой-то солдат пристроил свои сапоги: от запаха ворвани ее тошнило куда сильнее, чем от родов, и когда кто-то сунул ей под голову замызганное полотенце, запах армейского мыла,

жалкий аромат его тронул ее до слез; это оскверненное благоухание показалось ей невыразимо дорогим.

Когда начались схватки, ей помогли; ее вырвало прямо на ноги окружающих, и самой хорошей и хладнокровной повитухой оказалась четырнадцатилетняя девочка. Она вскипятила воду на спиртовке, приготовила стерильные ножницы и перерезала пуповину. Она делала все в точности, как написано было в книге, которую ей совсем не следовало бы читать; хладнокровно и в то же время мягко и с удивительной выдержкой делала она то, что по ночам, когда родители давно уже спали, вычитала в книге с красновато-белыми и желтоватыми рисунками; она перерезала пуповину стерилизованными портняжными ножницами, которые взяла у своей матери. Та отнеслась к познаниям дочери недоверчиво, хотя и не без некоторой доли восхищения.

Потом, когда тревога кончилась, до них откуда-то издалека донесся рев сирены: так до зверей, забившихся в чащу леса, доносятся голоса охотников. Дом рухнул. Руины зловеще приглушали звук, и мать Брилаха, которая оставалась в подвале одна с четырнадцатилетней повитухой, услышала крики остальных, – они пытались выбраться наверх сквозь завалившийся проход.

– Как тебя зовут? – спросила она у девочки: ей никогда раньше не приходилось с ней встречаться.

– Генриетта Шадель, – ответила девочка и достала из кармана непочатый кусок зеленоватого мыла.

Тогда фрау Брилах сказала:

– Дай-ка мне понюхать.

И она нюхала мыло и плакала от счастья, а девочка тем временем заворачивала ребенка в одеяло.

У нее оставалась только сумочка с деньгами и продуктовыми карточками, грязное полотенце, подсунутое ей под голову неизвестным благодетелем, и несколько фотографий мужа: на одной он был снят еще до армии, в спецовке слесаря, выглядел очень молодо и улыбался, на другой он был уже ефрейтором танковых войск и тоже улыбался, на третьей – унтером с железным крестом

второй степени и боевыми отличиями, и опять-таки улыбался, и самая последняя – она получила ее только на прошлой неделе, – где он уже фельдфебель с двумя крестами и все с той же улыбкой.

Через десять дней после родов ее втиснули в поезд, который увез ее на восток; спустя два месяца, в саксонской деревушке, она узнала, что муж погиб.

Восемнадцати лет от роду она вышла замуж за бравого ефрейтора, чье тело истлевает теперь где-то между Запорожьем и Днепропетровском. И вот на двадцать втором году жизни она стала вдовой. У нее трехмесячный ребенок, два полотенца, две кастрюльки, немножко денег, и она очень хороша собой.

Мальчик, которого по отцу окрестили Генрихом, вырастал в твердом сознании, что рядом с матерью всегда должен быть какой-нибудь дядя.

В его первые годы таким дядей оказался Эрих, который носил коричневую форму. Эрих принадлежал к загадочной категории дядей и к не менее загадочной категории наци. И с той и с другой категорией дело обстояло не совсем ясно. Генрих почувствовал это еще четырехлетним мальчонкой, но понять, в чем дело, конечно, не мог. У дяди Эриха была болезнь, которая называлась астма: стоны по ночам, кряхтение и жалобный вопль: «Дышать нечем!» – платки, смоченные уксусом, и запах камфары, и настои с каким-то диковинным ароматом. Домой из Саксонии вместе с ними перекочевал предмет, который когда-то принадлежал Эриху, – зажигалка. Эрих остался в Саксонии, а зажигалка перекочевала с ними, и запах Эриха сохранился навсегда в памяти.

Потом появился новый дядя, от которого в памяти остался запах американских сигарет и сырого алебастра да еще запах растопленного на сковородке маргарина и жареного картофеля. Звали его Герт, и был он не так далек и непонятен, как тот, которого звали Эрих и который остался в Саксонии. Герт работал облицовщиком, и слово «облицовщик» было неотделимо от запаха сырого алебастра, сырого цемента. И еще с Гертом было связано другое слово, которое он повторял на каждом шагу и которое после его ухода сохранилось в лексиконе матери, – слово дерьмо. Это такое слово, которое матерям почему-то можно говорить, а детям строго-настрого запрещается. И еще Герт оставил на память, кроме запахов и этого слова, – ручные часы, которые он подарил матери, мужские ручные часы на восемнадцати камнях – какое-то совершенно непонятное определение качества часов.

Генриху минуло тогда пять с половиной лет, и он немало сделал, чтобы прокормить себя и мать, выполняя на черном рынке всевозможные поручения многочисленных обитателей дома. Хорошенький мальчуган, похожий на отца, ежедневно в двенадцать уходил из дому, вооруженный деньгами и отличной памятью, и добывал то, что можно было раздобыть, – хлеб, табак, сигареты, кофе, сласти, а иногда даже такие роскошные вещи, как маргарин, масло, электролампочки. Когда надо было делать большие покупки, он служил для соседей проводником, потому что знал, кто чем торгует на черном рынке, и вообще знал там каждую собаку. Среди спекулянтов он пользовался неприкосновенностью, и всякий, кого уличали в попытке надуть малыша, подвергался беспощадному бойкоту и вынужден был открывать торговлю где-нибудь в другом месте.

Не по летам сообразительный, мальчуган приобретал на черном рынке не только хлеб насущный, он приобрел и феноменальную способность к устному счету. Способность эта выручала его в школе несколько лет подряд. Лишь в третьем классе они начали проходить примеры, которые он решал на практике задолго до школы.

Сколько стоят две осьмушки кофе, если известно, что кило стоит тридцать две марки?

Решения таких задач требовала от него сама жизнь, потому что выпадали очень скверные месяцы, когда он покупал хлеб по пятьдесят или по сто граммов, табак – еще меньшими дозами, кофе на лоты – крохотные порции, а это требует немалой сноровки в обращении с дробями, если ты не хочешь, чтобы тебя надули.

Герт исчез внезапно. А его запахи остались в памяти – сырой алебастр, «Виргиния», жаренный на маргарине картофель с луком; и еще в наследство от Герта осталось слово дерьмо, которое навсегда вошло в лексикон матери, и, наконец, одна ценная вещь – мужские ручные часы. После внезапного исчезновения Герта мать плакала, чего не было после расставания с Эрихом, а вскоре объявился новый дядя по имени Карл. Карл стал требовать, чтобы его называли папой, хотя он не имел на это ни малейшего права. Карл служил в магистратуре и ходил не в старом кителе, как Герт, а в настоящем костюме, и Карл возвестил громким голосом начало «новой жизни».

«Карл – новая жизнь» – так и запомнился он Генриху, потому что эти слова Карл повторял двадцать раз на дню. Запахом Карла был запах супов, которые отпускались служащим магистратуры на льготных условиях; супы, как бы они ни назывались, жирные они были или сладкие, все равно, от всех супов пахло термосом и изобилием. Карл ежедневно приносил в старом солдатском бачке половину своей порции, иногда и больше, когда подходила его очередь получать дополнительную порцию. Понять причину этой льготы Генрих так и не смог. С чем бы ни варили суп – со сладкими клецками или с бычьим хвостом, – все равно он отдавал термосом, и все равно он был великолепен. Для бачка сшили брезентовый чехольчик, а ручку обвязали суровыми нитками, Карл не мог возить бачок в портфеле, так как в трамвае всегда очень толкались, суп расплескивался и пачкал портфель. Карл был добродушный и нетребовательный, но его появление имело и неприятные последствия, потому что он был хоть и нетребовательный, да строгий и категорически запретил Генриху всякие походы на черный рынок. «Как государственный служащий, я не могу допустить… не говоря уже о том, что это подрывает моральные устои и народное хозяйство». Строгость Карла пришлась на тяжелый 1947 год. Скудные пайки, если вообще их можно было назвать пайками, – и Карловы супы не шли ни в какое сравнение с былыми заработками Генриха. Генрих спал в одной комнате с матерью и Карлом – точно так же, как он спал в одной комнате с матерью и дядей Гертом, с матерью и дядей Эрихом.

Когда Карл и мать, погасив свет, подсаживались к радиоприемнику, Генрих поворачивался к ним спиной и смотрел на карточку отца. Отец был снят в форме фельдфебеля танковых войск незадолго до смерти. В доме хозяйничали разные дяди, но фотография отца продолжала висеть на стене. И все-таки, даже отвернувшись, он слышал шепот Карла, хотя и не разбирал отдельных слов, и слышал хихиканье матери. Из-за этого хихиканья он порой ненавидел мать.

А потом у матери с Карлом был спор о каком-то малопонятном деле, которое называлось «он». «Мне он ни к чему», – все время говорила мать. «А мне к чему», – говорил Карл. Только потом Генрих понял, что значило «он». Вскоре мать попала в больницу, и Карл был очень огорчен и сердит, но ограничился тем, что сказал ему: «Ты тут ни при чем».

Пропахшие супом больничные коридоры, множество женщин в большом зале, мать, изжелта-бледная, но улыбающаяся, хотя ей было «так больно, так больно». Карл мрачно стоял у ее постели: «Между нами все кончено, раз ты «его»…»

Таинственный «он»! И Карл ушел еще до того, как мать выписалась из больницы. Генрих оставался пять дней под присмотром соседки, которая тут же снова стала посылать его на черный рынок. Всюду были уже новые люди и новые цены, и никого больше не занимало, обсчитывают Генриха или нет. Билькхагер, у которого он всегда покупал хлеб, сидел в тюрьме, седой папаша, который торговал табаком и сладостями, тоже угодил в тюрьму, его застали на месте преступления, когда он пытался забить лошадь в собственном дворе. Все изменилось, стало дороже и хуже. И Генрих обрадовался, когда из больницы вернулась мама; потому что соседка с утра до вечера рассказывала ему о том, как она похудела и какая раньше была пышная, или рассказывала о всяких вкусных вещах. Сказочные воспоминания о шоколаде и мясе, о пудингах и сливках совершенно сбивали его с толку, потому что он не имел ни малейшего представления об этих лакомствах.

Мать стала тихой, задумчивой, но гораздо ласковей, чем прежде. Она поступила работать на кухню, где варились супы для служащих магистратуры. Теперь они каждый день получали по три литра супа, а то, что не съедали сами, выменивали на хлеб или табак. По вечерам мать сидела у радиоприемника вместе с ним, тихая, задумчивая, курила, от нее только и можно было услышать: «Все мужчины – трусы».

Умерла соседка – мрачное, костлявое, вечно голодное существо. Она без конца рассказывала, что до войны весила почти семь пудов. «Вот посмотри на меня, хорошенько посмотри и представь себе, что я весила до войны больше семи пудов, во мне было ровно двести тридцать четыре фунта[1 - Немецкий фунт равен пятистам граммам. – Здесь и далее примечания переводчика.]. А посмотри на меня теперь – во мне осталось всего сто сорок четыре». Сколько это пудов? Семь пудов вызывают представление о мешках с картофелем, мукой, брикетами угля; семь пудов входило в маленькую тачку, которую он часто брал, когда шел воровать брикеты на путях, – холодные ночи, свисток стоящего на стреме – тот взобрался на семафорную мачту, чтобы подать сигнал, если покажется полицейский. Тачка получалась очень тяжелой, когда ее нагружали доверху, а соседка, выходит, весила еще больше.

И вот теперь она умерла: на могильный холм положили астры, пропели Dies irae, dies ilia[2 - День гнева, оный день (лат.) – начало одной из строф католической заупокойной мессы.], и когда родственники унесли мебель, на ступеньках осталась фотография – большая коричневая фотография, на ней соседка перед домом с надписью «Вилла Элизабет». Позади – виноградник, грот из пористого

камня, в котором фаянсовые гномы катают игрушечные тачки; на переднем плане, белокурая и толстая, стоит соседка, а из верхнего окна смотрит мужчина с трубкой во рту, и через весь фронтон – надпись «Вилла Элизабет». Собственно, так и должно быть – ведь ее звали Элизабет.

В освободившуюся комнату въехал мужчина, его звали Лео, он был кондуктор в синей форменной фуражке с красным кантом, на плечах много ремней, много скрипящей кожи и все то, что Лео называл своей «сбруей» – сумка для денег и деревянный ящичек, куда вставлялись катушки с билетами, губка в алюминиевом футлярчике и компостерные щипцы. Неприятным было лицо Лео – багровое, чисто вымытое; неприятным было никогда не выключавшееся радио и песни, что он насвистывал. Женщины в кондукторской форме танцевали и пели в его комнате.

– Ваше здоровье! – то и дело слышалось оттуда.

Женщина, которая когда-то весила почти семь пудов и от которой осталась фотография «Вилла Элизабет», была по крайней мере тихая. А Лео был шумный. Он стал главным потребителем супа и рассчитывался за него сигаретами по тарифу, который он сам установил; особенно хорошо платил Лео за сладкие супы.

Как-то вечером, когда Лео принес табак и получил за это суп, он вдруг поставил кастрюлю обратно на стол, с улыбкой поглядел на мать и сказал:

– Хотите посмотреть, как сейчас танцуют? Вам, собственно, случалось танцевать в последнее время?

И Лео пустился в какой-то невообразимый пляс, он высоко вскидывал ноги, размахивал руками и при этом дико подвывал. Мать рассмеялась и ответила:

– Нет, я уж давно не танцевала.

– А надо бы, – сказал Лео. – Идите-ка сюда!

И, напевая какой-то мотивчик, он взял мать за руку, стащил ее со стула и затанцевал с ней – и лицо матери сразу изменилось: она вдруг заулыбалась,

заулыбалась и сразу стала намного моложе.

– Ах, – сказала она, – вот прежде я часто ходила на танцы.

– Тогда пойдемте со мной! – воскликнул Лео. – У меня абонемент в танцклубе. А вы просто прелестно танцуете.

Мать и в самом деле пошла в клуб, и Лео стал дядей Лео, и снова начались разговоры про «него». Генрих внимательно прислушивался и скоро понял, что на сей раз роли переменились. Теперь мать говорила то, что тогда говорил Карл:

– Я хочу, чтоб он остался.

А Лео отвечал то, что тогда отвечала мать:

– Нет, ты от него избавишься.

Генрих был уже во втором классе и давно понимал, что значит «он», так как знал от Мартина то, что Мартин, в свою очередь, узнал от дяди Альберта: от сожительства мужчин и женщин появляются дети, и было ясно, что «он» значит просто ребенок и что достаточно всюду вместо «он» подставить «ребенок». «Я хочу ребенка», – говорила мать. «Нет, ты от него избавишься», – говорил Лео. «Я не хочу ребенка», – говорила мать Карлу. «А я хочу», – говорил Карл.

То, что мать сожительствовала с Карлом, было ясно и тогда, хотя тогда Генрих имел в виду не слово «сожительство», а совсем другое слово, которое звучало далеко не так пристойно. Значит, от ребенка можно избавиться. От того ребенка, из-за которого Карл бросил мать, она избавилась. Получалось, что Карл вовсе не самый плохой из всех дядей.

Появился на свет «он» – ребенок, и Лео грозился:

– Я отдам его в воспитательный дом, если ты из-за него уйдешь с работы.

Но с работы все-таки пришлось уйти, потому что суп, который на льготных условиях отпускали служащим магистратуры, иссяк, а вскоре и черного рынка не стало. Никто уже не интересовался супом, потому что выпустили новые деньги,

и деньги стали дороги, и в магазинах теперь продавались вещи, которых раньше нельзя было найти даже на черном рынке. Мама плакала, «он» был крохотный, и звали «его» – Вильма, как маму, а Лео все злился, пока мать снова не устроилась на работу у кондитера.

Дядя Альберт пришел и предложил матери денег, она их не взяла, Лео кричал на нее, а Альберт, дядя Мартина, кричал на Лео.

От Лео всегда пахло туалетной водой. Лицо у него было красное от вечного мытья, а волосы – черные как смоль; Лео много занимался своими ногтями, и из-под форменной тужурки у него всегда виднелось желтое кашне. И еще он был очень жадный: на детей он вообще ни гроша не тратил и этим отличался от Альберта и от Билля – дядей Мартина, которые делали ему много подарков. Билль был совсем не такой дядя, как Лео, а Лео совсем не такой, как Альберт. Постепенно Генрих стал всех дядей делить на категории. Билль – это настоящий дядя, а Лео – это такой дядя, как Эрих, Герт и Карл, которые сожительствовали с матерью. Альберт – это дядя, не похожий ни на Лео, ни на Билля, он не такой настоящий, как Билль, которого можно называть даже дедушкой, но и не сожительствующий дядя, как Лео.

А отец – это портрет на стене: улыбающийся фельдфебель, сфотографированный десять лет тому назад. Сначала отец казался ему слишком старым, теперь – слишком молодым, все моложе и моложе, а сам он медленно дорастал до отца, и отец был теперь всего в два с лишним раза старше его. А сначала он был старше раза в четыре, в пять. На другой фотографии, которая висела рядом, матери было всего восемнадцать, и она выглядела совсем как девчонка перед конфирмацией.

Дядя Билль почти в шесть раз старше его, и все же рядом с Биллем он казался себе старым и опытным, мудрым и усталым. И он принимал дружбу Билля, как принимают дружбу маленького ребенка, как он принимал нежности своей крохотной, быстро подраставшей сестренки. Он возился с ней, давал ей бутылочку, разогревал кашу, потому что с двенадцати мать уходила на работу, а Лео категорически отказывался возиться с ребенком. «Я вам не нянька!» Потом Генрих научился даже купать Вильму, сажать ее на горшок и брал ее с собой, когда ходил за покупками или когда ходил встречать маму после работы.

Альберт, дядя Мартина, ничем не походил на Билля, это был человек, знавший цену деньгам, человек, который, хотя сам и не нуждался в деньгах, знал, как

страшно, когда дорожает хлеб и подскакивает цена на маргарин; да, это был дядя, какого и ему хотелось бы иметь: не сожительствующий дядя и не дядя Билль, который годится разве на то, чтобы поиграть с ним или погулять. Билль неплохой человек, но разговаривать с ним трудно, а с Альбертом можно, хотя у Альберта и водятся деньги.

Он охотно ходил туда по многим причинам: главным образом из-за дяди Альберта и из-за Мартина, конечно. Во всем, что касалось денег, Мартин ничуть не отличался от дяди Билля. И бабушка ему нравилась, хотя она была с причудами. И ради футбола он ходил туда, и ради лакомств из холодильника, а еще ему нравилось, что там можно, оставив Вильму где-нибудь в саду, в коляске, гонять часами в футбол и не видеть дядю Лео.

Зато страшно было смотреть, как там обращаются с деньгами: ему там ни в чем не отказывали, и все относились к нему очень ласково, но у Генриха было смутное предчувствие, что в один прекрасный день все это плохо кончится, и не только из-за денег. Существовали вещи, которые не имели никакого отношения к деньгам, например, разница между дядей Лео и дядей Альбертом, разница между тем, как ужаснулся Мартин, услышав слово, сказанное кондитеру, и тем, как сам он, Генрих, только чуть испугался, когда впервые услышал, как мама выговорила слово, которое раньше он слышал только от Лео и какой-то его кондукторши. Слово это показалось ему отвратительным, он не любил его, но никогда не ужасался так, как ужаснулся Мартин. Все эти различия только частично зависели от денег, и разбирался в этом только дядя Альберт, который отлично понимал, что не должен слишком хорошо относиться к нему, Генриху.

3

Уже несколько минут она чувствовала на себе чей-то пристальный взгляд, взгляд человека, привыкшего к победам и не сомневающегося в успехе. Можно смотреть по-разному: она иногда чувствовала устремленные на нее сзади молящие глаза робкого воздыхателя. Но этот, сегодняшний, уверен в себе – взгляд без тени меланхолии; целых полминуты она пыталась представить себе, каков он – элегантный брюнет несколько хлыщеватого вида; может быть, он даже заключил пари – ставлю десять против одного, что я за три недели полажу с ней.

Она очень устала, и ей не стоило особого труда игнорировать незнакомого поклонника, она радовалась тому, что может провести конец недели с Альбертом и мальчиком у матери Альберта. Подходит осень, и вряд ли в ресторанчике будет много народу. Даже просто слушать Альберта, когда он рассуждает с Биллем и Глумом о разных видах приманки, одно удовольствие; кроме того, она возьмет с собой книги и почитает, пока ребята будут играть в футбол, а может, она поддастся на уговоры и пойдет вместе с Глумом удить рыбу и будет кротко выслушивать объяснения о наживке и насадке и о различных видах удилищ и о великом, даже более чем великом, терпении. Она все еще чувствовала на себе этот взгляд и тут же снова ощутила усыпляющее воздействие голоса Шурбигеля: всюду, где только можно было произнести речь на какую-нибудь интеллектуальную тему, Шурбигель немедленно произносил ее. Она ненавидела Шурбигеля и теперь раскаивалась в дурацкой вежливости, заставившей ее принять приглашение. Было бы куда лучше пойти с Мартином в кино, потом поесть мороженого и, прихлебывая кофе, просмотреть вечернюю газету, пока Мартин развлекается, выбирая пластинки, которые любезно подает ему официантка. А теперь ее уже заметил кое- кто из знакомых – и впереди опять потерянный вечер: впопыхах приготовленные бутерброды, откупоренные бутылки, кофе («Может быть, вы предпочитаете чай?»), сигареты и вдруг отупевшее лицо Альберта – таким оно становится, когда он должен занимать ее гостей и рассказывать им про ее мужа.

Слишком поздно. Сейчас выступает Шурбигель, потом патер Виллиброрд начнет представлять ей разных людей, появится и тот незнакомый поклонник, чей взгляд, словно свет лампы, падает на ее затылок. Лучше всего вздремнуть – так по крайней мере урвешь хоть немножко для сна.

Она вечно делала то, чего не хотела, и вовсе не из-за тщеславия, вовсе не для того, чтобы прибавить популярности своему погибшему Мужу, и вовсе не ради желания познакомиться с интересными людьми. Это было чувство, какое испытываешь, пускаясь вплавь, и она позволяла увлекать себя туда, где почти все было лишено смысла – смотреть отрывки из плохих фильмов, бессвязные, скверно заснятые сцены с участием посредственных актеров и неважным освещением и мечтать. Она изо всех сил боролась с дремотой, даже выпрямилась и стала слушать Шурбигеля, чего уже давным-давно не делала. Взгляд, неотступно устремленный на нее, утомлял. Не оборачиваться требовало напряжения, а оборачиваться она не хотела, потому что, не глядя, знала этот тип людей. Эти интеллигентные бабники приводили ее в ужас. Вся их подчиненная рефлексам и чувству неполноценности жизнь протекает с оглядкой на литературные образцы, и вкусы их колеблются между Сартром и Клоделем.

Они мечтают о номере гостиницы, точно таком, какой они видят в кино, на самых поздних сеансах, в фильмах с тусклым освещением и утонченным диалогом, в фильмах «не богатых событиями, но захватывающих» и сопровождаемых экзистенциональными звуками органа: бледный мужчина склонился над бледной женщиной, а сигарета – какой великолепный кадр! – окутывает ночной столик огромными кольцами дыма – «Мы поступаем дурно, но мы не в силах поступить иначе». Выключают свет, и в сгустившемся сумраке алеет лишь огонек сигареты на ночном столике, – экран меркнет, а тем временем свершается неизбежное.

Чем больше таких поклонников появлялось у нее, тем больше она любила своего мужа, и за десять лет, хотя ей многое приписывали, она ни разу не спала ни с одним мужчиной. Рай был другим, и комплексы его были подлинными так же, как и его наивность.

Теперь ее медленно убаюкивал голос Шурбигеля, и на какое-то мгновение она забыла о назойливом, упершемся ей в затылок взгляде незнакомца.

Шурбигель был высокий и грузный, и степень меланхолии в его лице возрастала от доклада к докладу, а он прочел их немало. И с каждым докладом он становился все представительнее, все грузнее. Нелле всегда казалось, что перед нею потрясающе эрудированный, потрясающе грустный и раздувающийся не по дням, а по часам воздушный шар, который вдруг лопнет, и ничего от него не останется, кроме пригоршни концентрированной и дурно пахнущей грусти.

И тема его была специфически шурбигелевской – «Отношение творческой личности к церкви и к государству в наш технический век». И голос у него был приятный: масленисто разумный, чуть прерывающийся от скрытой чувствительности, исполненный бесконечной грусти. Ему сорок три года, у него множество почитателей и почти нет врагов, но тем не менее этим врагам удалось извлечь на свет божий из недр захудалой университетской библиотеки где-то в Средней Германии докторскую диссертацию Шурбигеля, а диссертация была написана в 1934 году и называлась: «Образ фюрера в современной лирике». Поэтому каждое свое выступление Шурбигель начинал теперь с критических замечаний по поводу публицистической недобросовестности некоторых крикливых юнцов, сектантствующих пессимистов, самобичующихся еретиков, не способных уразуметь поступательное развитие духовно созревшей личности. Но в обращении с недругами он был сама любезность и применял против них оружие, которое приводило их в бешенство, ибо они были бессильны

против него: Шурбигель прощал врагам своим, он все и всем прощал. Его жестикуляция во время выступления напоминала ухватки услужливого парикмахера, заботящегося только о благе клиента. Выступая, он как бы прикладывал своим воображаемым друзьям и воображаемым недругам горячие компрессы, он умащал их успокоительными и благовонными эссенциями, он массировал им щеки, он обмахивал их, он освежал их, потом долго и основательно намыливал необычайно ароматным и необычайно дорогим мылом, – а его масленый голос высказывал необычайно умные мысли. Шурбигель был пессимист, но вовсе не безнадежный. Такие слова, как «элита», «катакомбы», «разочарование», словно бакены, колыхались в могучем потоке его речей; он доставлял посетителям своего салона бездну не изведанных доселе наслаждений: легкое прикосновение, горячие компрессы, холодные компрессы, теплые компрессы, массаж; он словно оказывал своим слушателям все услуги, перечисленные в прейскуранте перворазрядной парикмахерской.

Он и вырос в окраинной парикмахерской. «Исключительно одаренного ребенка» скоро заметили и начали всячески продвигать. Маленькому толстому мальчику на всю жизнь запомнилось меланхолическое обаяние грязноватой и тесной отцовской парикмахерской: мелькание ножниц – сверкание стали в полутемной комнате, ровное жужжание электрической машинки для волос, неторопливая беседа, аромат различных сортов мыла и духов, звяканье монет в кассе, украдкой подаваемые пакетики, полоски бумаги, на которых медленно высыхали в мыльной пене белокурые, черные, рыжие волосы, – казалось, что они попали в застывший сахарный мусс; две теплые и полутемные деревянные кабинки, где священнодействовала мать: искусственное освещение, струйки дыма от сигарет, и вдруг начинаются надрывные излияния по поводу всяческих амурных делишек. Когда в парикмахерской никого не было, ласковый, вечно меланхолически настроенный отец проходил в заднюю комнату, выкуривал сигарету и гонял его по склонениям, – тут ухо Шурбигеля стало чувствительным, а дух – скорбным. Отец так никогда и не научился правильно ставить ударения в латинских словах и упорно говорил gen’us вместо g’enus[3 - род (лат.)], ‘ancilla вместо anc’illa[4 - служанка (лат.)], а когда сын без подготовки спрягал tithemi[5 - я кладу (греч.)], на устах отца появлялась дурацкая усмешка, ибо ассоциации и мысли у него всегда были самые низменные.

Теперь Шурбигель умащал своих слушателей таинственной мазью и почтительно массировал им уши, лбы и щеки, потом он быстрым движением снял с них простынку, слегка поклонился, собрал свои записи и, кротко улыбаясь, сошел с трибуны. Его провожали единодушными и долгими, хотя и негромкими аплодисментами, – как раз так, как любил Шурбигель: ему не нравилось, когда

хлопают слишком громко. Правую руку он сунул в карман и стал поигрывать жестяной коробочкой, наполненной витаминизированным драже; тихий звук перекатывающихся конфеток успокаивал, и Шурбигель, улыбаясь, протянул руку патеру Виллиброрду, который успел шепнуть: «Замечательно, замечательно!» Шурбигель распрощался – ему нужно было успеть на открытие выставки «Южнобаварских вероотступников», он считался специалистом по современной живописи, современной музыке, современной лирике. Он предпочитал самые трудные темы, они давали возможность высказывать отважнейшие мысли, создавать рискованнейшие концепции. Смелость Шурбигеля могла сравниться только с его доброжелательностью, он всего охотнее расхваливал тех, кого считал своими врагами, и охотнее всего отыскивал недостатки в тех, кого считал своими приятелями. Хвалил он приятелей очень редко и тем снискал себе славу неподкупного. Шурбигель был неподкупен, и, хотя у него были враги, сам он ничьим врагом не был.

После войны Шурбигель (тут неоднократно приводился пример с апостолом Павлом) познал безграничное обаяние религии. К великому удивлению своих друзей, он стал христианином и первооткрывателем христианских дарований; к счастью для Шурбигеля, у него была одна большая, правда, уже десятилетней давности, заслуга: он открыл Раймунда Баха, которого еще десять лет тому назад назвал «крупнейшим лириком нашего поколения». Будучи редактором большой нацистской газеты, он открыл Баха, стал его печатать, и это давало ему право – тут уж недругам оставалось только помалкивать – начинать каждый реферат о современной лирике словами: «Когда в 1935 году я первым опубликовал стихотворение поэта Баха, павшего затем в России, я уже знал, что начинается новая эра в лирической поэзии».

Печатанием стихов Баха он завоевал себе право называть Неллу «моя дорогая Нелла», и она ничего не могла с этим поделать, хотя отлично знала, что Рай ненавидел Шурбигеля так же, как теперь ненавидела Шурбигеля она сама. Он завоевал себе право раз в три месяца являться к ней вечером с целой оравой небрежно одетых юнцов, пить у нее чай и вино – и минимум раз в полгода где-нибудь пристраивать очередную фотографию: «Вдова поэта с человеком, открывшим ее мужа».

Нелла с облегчением констатировала, что он куда-то исчез; она ненавидела его, но в то же время он забавлял ее. Когда аплодисменты стихли, она, стряхнув с себя дремоту, почувствовала, что взгляд устремлен теперь не на ее затылок, а прямо в лицо. Она подняла глаза и увидела того, кто так упорно стремился

покорить ее: он приближался к ней с патером Виллибрордом; он был еще молод и вопреки моде очень скромно одет: темно-серый костюм, аккуратно повязанный галстук, весьма приятное лицо – такая умная ирония бывает на лицах редакторов, которые от текущей политики перешли на фельетон. Для патера Виллиброрда как раз и было характерно, что он абсолютно всерьез принимал таких, как Шурбигель, и что он представлял ей субъектов, подобных незнакомцу, с которым сейчас медленно приближался к ней.

Незнакомец оказался брюнетом – это она угадала, но в остальном он никак не соответствовал тому типу интеллигентного бабника, о котором она только что думала. Чтобы окончательно смутить его, она еще раз улыбнулась: поддался ли он на эту игру мельчайших мускулов ее лица? Конечно, поддался. Когда он склонился перед ней, она увидела густые черные волосы, разделенные ровным пробором.

– Господин Гезелер, – улыбаясь, сказал патер Виллиброрд, – трудится над антологией лирической поэзии и охотно посоветовался бы с тобой, дорогая Нелла, какие именно стихотворения Рая следует поместить.

– Как… как вас зовут? – переспросила она и тут же увидела по его лицу, что он принял ее испуг за признательность.

Лето в России, окоп, маленький лейтенант посылает Рая на верную смерть. Так на этой вот смуглой, безукоризненно выбритой щеке десять лет тому назад горела пощечина Альберта?

«…Я влепил ему такую пощечину, что какое-то мгновение видел отпечаток своих пяти пальцев на его смуглой щеке, а заплатил я за эту пощечину шестимесячным пребыванием в одесской военной тюрьме». Внимательные, чуть испуганные глаза, испытующий взгляд. Нить жизни перерезана – жизни Рая, моей и мальчика – из-за пустого упрямства какого-то чернявого лейтенанта, настаивавшего на выполнении своего приказа; три четверти прекрасного фильма, который уже начался, вдруг оборвали, бросили в кладовую, и оттуда она по кускам извлекает его, – сны, которые так и не стали явью. Выкинули главного героя, а всех остальных – ее, мальчика, Альберта – заставили крутить новую, кое- как склеенную ленту. Режиссер на часок-другой ввел в картину маленького, но ретивого начальника, и тот испоганил весь финал. Прочь главного героя! Ее изуродованная жизнь, жизнь Альберта, мальчика, бабушки на совести этой жалкой бездари, которая упорно продолжает принимать ее

смущение за влюбленность.

«Бездарь, маленький, смазливенький, интеллигентик с испытующим взглядом, составитель антологии, если только это ты, – по-моему, ты слишком молод, – но если это действительно ты, ты станешь главным героем в третьей части с мелодраматическим концом – таинственная фигура в мыслях моего сына, черный человек в памяти бабушки; десять лет, полные неугасимой ненависти; о, у тебя еще закружится голова так, как кружится она сейчас у меня».

– Гезелер, – ответил он, улыбаясь.

– Господин Гезелер вот уж две недели ведет отдел литературы и искусства в «Вестнике». Нелла, дорогая, тебе нехорошо?

– Да, мне нехорошо.

– Вам надо подкрепиться. Разрешите пригласить вас на чашку кофе?

– Пожалуйста.

– Вы пойдете с нами, патер?

– С удовольствием.

Но ей пришлось еще пожать руку Тримборну, раскланяться с фрау Мезевиц, услышать чей-то шепот: «Наша милая Нелла стареет» – и подумать, стоит ли позвонить Альберту и вызвать его сюда. Альберт узнает его и избавит ее от мучительного выспрашивания. Она почти не сомневалась, что это он, хотя все говорило против этого. На вид ему казалось лет двадцать пять, ну, от силы двадцать восемь; значит, тогда ему самое большее было восемнадцать.

– Я собирался писать вам, – сказал он, когда они спускались по лестнице.

– Это было бы бесполезно, – сказала она.

Он взглянул на нее, и его глуповато-обиженный вид только подзадорил ее.

– Я уж десять лет не читаю писем и бросаю их нераспечатанными в корзинку для бумаг.

В дверях она остановилась, подала руку только патеру и сказала:

– Нет, пойду домой, мне нехорошо… позвоните мне, если хотите, но не называйте себя, когда подойдут к телефону. Слышите? Не называйте себя.

– Что случилось, дорогая Нелла? – спросил патер.

– Ничего, – сказала она, – я просто очень устала.

– Мы рады были бы видеть тебя в воскресенье на следующей неделе в Брернихе; господин Гезелер выступит там с докладом.

– Позвоните мне, пожалуйста, – сказала она и, не обращая больше внимания на обоих мужчин, быстро ушла.

Наконец-то она вырвалась из полосы яркого света и свернула в темную улицу, где находилось кафе Луиджи.

Здесь она сотни раз сидела с Раймундом, это самое подходящее место, здесь снова можно склеивать фильм из обрывков, которые стали снами, и начать крутить его. Погасить свет, нажать кнопку, и сон, который так и не стал явью, вспыхивает в мозгу.

Луиджи улыбнулся ей и тут же схватил пластинку, которую ставил всегда, когда приходила Нелла: дикая, примитивно сентиментальная музыка изматывала и волновала. Настороженно дожидалась она того момента, когда мелодия обрывается и с грохотом падает в бездонную пропасть, – и в то же время она упорно прокручивала первую часть фильма – ту, которая не была сном.

Здесь фильм начинался, здесь, где мало что с тех пор изменилось. По-прежнему на фронтоне над витриной был врезан в стену пестрый петух, выложенный из разноцветных стеклянных плиток: зеленых, как лужайка, и красных, как гранат, желтых, как флажки на составах с боеприпасами, и черных, как уголь, а большой транспарант, который петух держал в клюве, был белоснежным, и на

нем красная надпись: «Генель. 144 сорта мороженого». Петух бросал пестрый свет на лица посетителей, на весь зал до самого дальнего уголка, на Неллу, и рука ее, окрашенная мертвенно желтым светом, лежала на столе, как и тогда, когда шла первая часть фильма.

Какой-то молодой человек подошел к ее столику, темно-серая тень упала на ее руку, и, прежде чем она подняла глаза, он сказал ей:

– Скиньте эту коричневую куртку, она вам вовсе не к лицу.

И вот он уже очутился за ее стулом, спокойно поднял ей руки и снял с нее коричневую куртку «гитлерюгенд». Потом бросил куртку на пол, отшвырнул ногой в угол кафе и сел рядом с Неллой.

– Я понимаю, что должен объяснить свой поступок, – она все еще не видела его, потому что другая серая тень легла на ее руку, окрашенную в желтый цвет грудью стеклянного петуха. – Никогда больше не напяливайте эту штуку. Она вам не к лицу.

Позднее она танцевала с тем, который пришел первым, они танцевали возле стойки, где оказалось свободное место, и теперь она хорошенько разглядела его: на улыбающемся лице – удивительно неулыбчивые синие глаза, смотревшие поверх ее плеча куда-то вдаль. Он танцевал с ней так, будто ее и не было рядом, и руки его легко касались ее талии, легкие руки, которые она потом, когда они спали вместе, часто клала себе на лицо. Светлыми ночами волосы его казались не черными, а пепельными, как свет, проникавший с улицы, и она тревожно прислушивалась к его дыханию – дыхание это нельзя было услышать, только почувствовать, если поднести руку к его губам.

Балласт был выброшен из жизни в ту минуту, когда темно-серая тень упала на ее окрашенную в желтый цвет руку. Коричневая куртка так и осталась лежать в углу бара.

Желтое пятно на руке – как двадцать лет тому назад.

Ей нравились его стихи, потому что он их написал, но куда важнее любых стихов был он сам, равнодушно читавший их. Все ему давалось легко, все казалось само собой разумеющимся. Даже от призыва в армию, которого он боялся, им удалось

получить отсрочку, но осталась память о двух днях, когда его избивали в каземате.

Мрачный сырой форт, построенный в 1876 году, теперь там разводит шампиньоны предприимчивый маленький француз: кровавые пятна на потемневшем сыром цементном полу, пиво, блевотина пьяных штурмовиков, приглушенное пение словно из могилы; блевотина на стенах, на полу, где теперь на слое навоза растут белесые, болезненного вида грибы, а на крыше каземата теперь чудесный зеленый газон, розы, играют дети, матери сидят с вязаньем, и то и дело слышатся их крики: «Осторожней!» и «Что ты мечешься как угорелый»; старички-пенсионеры досадливо разминают табак в трубке – всего на два метра выше той темной ямы, где Рай и Альберт два дня ожидали смерти. Сияющие папаши играют в лошадки, дедушки одаривают детей конфетками, фонтан, окрики: «Не подходи близко к краю!», и старый сторож, который по утрам обходит парк и устраняет следы ночных похождений пригородной молодежи: бумажные платки со следами губной помады, и на земле нацарапанные при лунном свете обломками веток синонимы слова «любовь». Старички, поднимающиеся чуть свет, приходят летом очень рано, чтобы увидеть добычу сторожа, прежде чем она исчезнет в мусорном ведре: хихиканье по поводу пестрых бумажных платков и стертой ядовито-красной губной помады. Все мы были молоды.

А среди всего этого – яма, где теперь растут шампиньоны – множество белесых пятен над коричневым навозом и желтой соломой; здесь когда-то убили Авессалома Биллига – первую жертву среди евреев города. Это был темноволосый смешливый паренек с руками легкими, как руки Рая; и рисовать он умел неподражаемо. Он рисовал сторожевые вышки и штурмовиков – немцев до мозга костей

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

1

Немецкий фунт равен пятистам граммам. – Здесь и далее примечания переводчика.

2

День гнева, оный день (лат.) – начало одной из строф католической заупокойной мессы.

3

род (лат.)

4

служанка (лат.)

5

я кладу (греч.)

Купить: https://tellnovel.com/ru/bell-_genrih/dom-bez-hozyaina

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить